



Константин Симонов

Жди меня



МОСКВА

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
С37

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

В коллаже на обложке использована фотография:
© Nana_studio / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Симонов, Константин Михайлович.

С37 Жди меня / Константин Симонов. — Моск-
ва : Эксмо, 2026. — 352 с. — (Золотая коллек-
ция поэзии).

«От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли...»

Эти слова о военных корреспондентах в полной мере относятся и к их автору. «Военная тема», ставшая жизнью и судьбой Константина Симонова, вошла в его лирику не грохотом артиллерии, а пронзительной мелодией, мужественной и нежной. Его стихи — о любви и верности, о доблести и трусости, о дружбе и предательстве — солдаты передавали друг другу, переписывали. Они помогали выжить.

«...Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой...»

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-187060-7

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026



ИЗ БИОГРАФИИ

Я родился в 1915 году в Петрограде, а детство провел в Рязани и Саратове. Моя мать работала то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище.

Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня, соседями были тоже военные, да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. За окнами, на плацу, производились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими женами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на продсклад получать командирское довольствие.

Вечерами отчим сидел и готовил схемы к предстоящим занятиям. Иногда я помогал ему. Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая лож презиралась.

Так как и отец, и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были возложены посильные, постепенно возрастающие обязанности. Я вытирал пыль, мел пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала — ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться, — не помню.

Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.

Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошел в фабзавуч учиться на токаря. Решение принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: «Пусть делает, как решил, его дело!»

Мы жили туго, в обрез, и тридцать семь рублей в получку, которые я стал приносить на второй год фабзавуча, были существенным вкладом в наш семейный бюджет.

Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной 1932 года, окончив фабзавуч точной механики и получив специальность токаря 4-го разряда, пошел работать на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики «Межрабпомфильм».

Руки у меня были отнюдь не золотые, и мастерство давалось с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, и через несколько лет я уже работал по седьмому разряду.

В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попала книжка сонетов французского поэта Эридия «Трофеи» в переводе Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, поче-

му эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но, видимо, именно они побудили меня к первым пробам пера. Вскоре, после того как я одним духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище — поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму из времен гражданской войны и постепенно прирастал к сочинению стихов, — иногда они получались звучные, но в большинстве были подражательные. Стихи нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения.

Осенью 1933 года под влиянием статей о Беломорстрое, которыми тогда были полны все газеты, я написал длинную поэму под названием «Беломорканал». В громком чтении она произвела впечатление на слушателей. Кто-то посоветовал мне сходить с ней в литературную консультацию — а вдруг возьмут и напечатают?

Не особенно в это веря, я, однако, не удержался от соблазна и пошел на Большой Черкасский

переулок, где на четвертом этаже, в тесной, заставленной столами комнате помещалась литературная консультация Гослитиздата.

Я пришел вовремя — литконсультация Гослитиздата выпускала очередной, второй сборник молодых авторов под названием «Смотр сил».

Прочитав мое творение, консультант С. Ю. Коляджин сказал, что я не лишен способностей, но предстоит еще много работы. И я стал работать: в течение полугода чуть ли не каждые две недели заново переписывал поэму и приносил ее Коляджину, а он вновь заставлял переделывать. Наконец весной, решив, что мы оба совершили с поэмой все, что могли, Коляджин понес ее Василию Васильевичу Казину, который редактировал в Гослитиздате поэзию. Казин тоже признал мои способности, но поэму как таковую отверг, сказав, что из нее можно выбрать лишь отдельные удачные места, или, как он выразился, фрагменты. И вот эти-то фрагменты, после того как я над ними еще поработаю, наверно, можно будет включить в сборник «Смотр сил».

Всю весну и начало лета каждый день, приходя с работы, я допоздна сидел и корпел над фраг-

ментами. И когда я вконец изнемог под грузом поправок, Казин, казавшийся мне очень строгим человеком, вдруг сказал: «Ладно, теперь можно — в набор!» Сборник «Смотр сил» ушел в типографию. Оставалось ждать его выхода.

Летом, получив отпуск, я решил поехать на Беломорканал, чтобы увидеть своими глазами то, о чем писал стихи, пользуясь чужими газетными статьями. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, меня неожиданно поддержали не только морально, но и материально. В секторе культмассовой работы нашлись деньги для этой поездки, и через несколько дней, получив триста рублей и добавив их к своим отпускным, я поехал в Медвежью Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, в которой значилось, что Симонов К. М. — молодой поэт с производства — направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сектор Гослитиздата просит оказать означенному поэту всяческое содействие.

На Беломорканале я пробыл месяц. Большую

часть времени жил на одном из лагерных пунктов неподалеку от Медвежьей Горы. Мне было девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в камерке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключенного), никто, конечно, не принимал меня всерьез за писателя. Персона моя никого не интересовала и не стесняла, и поэтому люди оставались сами собой. Когда я рассказывал о себе и о том, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать вместо прежней новую), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу, одобряли — «Давай пробивайся».

Вернувшись в Москву, я написал эту новую поэму. Называлась она «Горизонт», стихи были по-прежнему неудобоваримыми, но за ними стояло уже реальное содержание — то, что я видел и знал. В консультации мне посоветовали пойти учиться в открывшийся недавно, по инициативе А. М. Горького, Вечерний рабочий литературный университет и даже написали рекомендацию.

В начале сентября 1934 года, сдав приемные испытания, я нашел свою фамилию в длинном

списке принятых, вывешенном в коридорах знаменитого «Дома Герцена».

Учиться первые полтора года было трудно; я продолжал работать токарем, сначала в «Межрабпомфильме», а потом на кинофабрике «Техфильм». Жил я далеко, за Семеновской заставой, работал на Ленинградском шоссе, вечерами бежал на лекции, а по ночам продолжал писать и переписывать свою поэму о Беломорканале, которая чем дальше, тем казалась длиннее. Времени на сон практически не оставалось, а тут еще выяснилось, что я гораздо меньше начитан, чем мне это казалось раньше. Пришлось, в срочном порядке, громадными порциями глотать литературу.

На втором курсе стало ясно, что делать сразу три дела — работать, учиться и писать — я больше не могу. Мне скрепя сердце пришлось оставить работу и перебиваться случайными заработками, потому что стипендий нам не давали, а стихов моих еще не печатали.

Вспоминая свои молодые годы, не могу не упомянуть о моих руководителях в поэтическом семинаре Литературного института Илье Дукоре и Леониде Ивановиче Тимофееве, и моих поэти-

ческих наставниках тех лет, Владимире Луговском и Павле Антокольском, сыгравших немалую роль в моей писательской судьбе. К этим людям я до сих пор испытываю огромную благодарность.

В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны мои первые стихи, а в 1938 году под названием «Павел Черный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад обратился в литконсультацию. Своим выходом в свет она не принесла мне радости, но — пока я ее писал и переписывал — научила меня работать.

Однако не публикация стихов и не выход моей первой книжки стали для меня той ступенью, шагнув на которую я почувствовал, что становлюсь поэтом. Это чувство точно и определенно связано у меня с одним днем и одним стихотворением.

Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач — это писатель Мате Залка, человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в

трамвае, то на улице. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал».

В нем говорилось о судьбе Мате Залки — генерала Лукача, но внутренне с юношеской прямоотой и горячностью я отвечал сам себе на вопрос — какой должна быть судьба моего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?

Да, именно так, как Мате Залка, мне хотелось прожить и свою собственную жизнь. Да, именно за это мне будет не жаль отдать ее!

В стихах «Генерал» хромали рифмы и попадались неуклюжие строчки, но сила чувства, которое было в моей душе, сделала их, как мне кажется, моими первыми настоящими стихами.

Константин Симонов
1978



Начало





Из поэмы
«ПАВЕЛ ЧЕРНЫЙ»

* * *

В начале тридцать второго в Карелию ехал
Черный —
Густо татуирован, жилист, немыт, небрит.
Ехал он из Одессы, с любимого Черного моря
На чортово Белое море. Чорт его побери!
Как раз в арестантском вагоне стукнул ему
тридцатый.
Стократно благополучно бежавшие от погонь,
Были с ним вместе взяты в доску свои ребята,
Прошедшие медные трубы, воду, водку, огонь.
Ехали долго и скучно: пять суток резались в карты;
Сто раз прошли через руки деньги, жратва, табак...

Вагон, как осенняя муха, полз по холодной карте,
И Черному показалось, что дело его — табак!

Если глядеть в окошко: камень, камень и камень,
Снег да кривые сосны, и кругом никого,
Если вцепиться в решетку да потрясти руками,
Услышишь запах железа и проклянешь его.

До теплой Одессы тыщи простуженных километров.
А вор все равно, что птица, серенький соловей, —
Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
От холода и от клетки, от мыслей в своей голове.

Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
Нету у человека печки, тепла, угла?
Нету такого места, чтобы взял ты билеты,
Уехал — и никакая власть тебя не взяла.

Говорят, что у маминой юбки самое теплое место,
Что приятно со старым папкой в поддавки постучать.
Говорят, человек как кошка, любит старое место,
Любит собственных шкетов на руках покачать.

Кто его знает? Ноги шли не на те пороги,
Не пробовал Черный этих приятных и тихих штук.
Выбрать ему не дали. А на любой дороге
У дырявых подметок одинаковый стук.

Как и других — родили, кинули в подворотню.
Дворник нашел под утро. Пошевелил носком.
Видит — живой мальчишка; выживет, будет работник,
Скорей же всего подохнет. И сунул в сиротский дом.

Сиротский дом трехэтажный. В стенах глаза и уши,
Если бывал — так знаешь. Не бывал — не поймешь!
Давал император трешку в год на живую душу.
«Смоешься — станешь вором. Не смоешься —
так помрешь».

И вышла такая привычка: загнут на любом из
следствий:
«Что же это вас толкнуло? Кто папа и мама вам?» —
Встанет Черный и скажет: «Очень приличное детство,
Очень прекрасная мама, а воровал я сам!»

Наутро довел их поезд до самого края свету,
Ссадил и поехал дальше, куда-то в тартарары.
Взглянули на солнце — нету! Взглянули
на звезды — нету!
И нету на белом свете другой подобной дыры.

Кто-то сказал в молчанье: «Зовется город
Сорока...»

И даже те, что успели приговор позабыть,
Тут при помощи пальцев вновь сочтя свои сроки,
Загрустили, что долго придется в Сороке быть.

Они прошли через город без песен и разговоров.
Никто не кидался к окнам, не выбегал встречать:
Мало ли на работу ведут через город воров —
К ним раз навсегда привыкли и бросили замечать.

А если и замечали, то говорили мельком:
«Снова ведут рабсилу...» И, уловив на слух,
Воры, сердясь, считали это название мелким,
Вставал на дыбы их гордый паразитарный дух.

Черный сказал с усмешкой: «Вот оно — Белое море.
Если казенным сладким подавишься калачом,
Если засохнешь с горя, если тоска уморит,
Снегом тебя засыпет, и никто не при чем».

И повернули в поле. Вот бы сейчас самовара!
Хватить бы по два стакана, по третьему наливать.
Идут в шикарных пальтишках девчонки
с Тверского бульвара,
Их еще не успели переобмундировать.

Черный на них смеется, на моды их и фасоны.
Он бы за них копейки ломаной не отдал.
Но их манто и чулочки немного не по сезону.
А это удачный повод, чтоб учинить скандал.

Черный подходит фертom к заднему из конвойных
И задушевым тоном в ухо кричит ему: